

В СТАЛИНГРАДЕ

Виктор НЕКРАСОВ

Я думаю, что не обиду сталинградцев, если скажу, что чувства их, надежды, живущих в одном из самых, может быть, интереснейших городов земного шара, немного протрупились. Сталинградцы любят и гордятся своим городом, как мало кто может и имеет право гордиться, и все же они привыкли к нему, привыкли к тому, что в нем происходит, и много из того, что кажется им обыкновенным, чего они уже не замечают, замечают мы, люди приезжие, замечаем и восхищаемся.

Если к тому же приезжий этот бывал здесь во время войны и видел то, что осталось от города в феврале сорок третьего года, то восприятие его — тут нет ничего удивительного — будет особенно остро, а чувствительность несомненно повышена. И, конечно же, он будет вспоминать. Пусть же не осудит читатель его за это. Вспоминать всегда интереснее, чем слушать воспоминания, но удержаться от этого очень трудно.

Всякий поймет то волнение, с которым подходит человек в место, где он когда-то воевал. В ТЭЦ тракторного завода я, правда, не воевал, но я должен был ее вернуть. На мне лежала тяжелая и страшная обязанность включить рубильник в случае, если поступит такой приказ. Приказа этого не поступало, но вест сентябрь 1942 года мы жили в ожидании его. Мы — это пять человек, живших в небольшой цехи метрах в ста от станции. Лежа по вечерам на парах, мы смотрели на этот ненавистный рубильник с черной ручкой и все пятеро думали об одном. Это были невеселые мысли...

Среди нас пятерых был один электрик. Я не буду о нем подробно рассказывать. В повести «В окопах Сталинграда» он называется Георгий Акимович. Маленький, подвижной, он всем был недоволен, всех и все ругал, но работал, как черт, и в ТЭЦ своем был влюблен, как в девушку.

Когда нас, саперов, отозвали и мы шли по выемку пехотному мосту через Волгу, он стоял на высоком правом берегу и махал своей кепкой с пуговицей. Долго еще видна была его маленькая фигура на фоне горящего от бомбежек завода. Вот еще один человек прошел через твою жизнь и исчез, и, вероятно, никогда ты больше его не увидишь и не услышишь о нем... Война...

...Сейчас кончится центральная заводская аллея, и налево будет ТЭЦ. Еще двадцать, десять шагов. Аллея кончилась. Налево ТЭЦ. Но она ли это? Я ее не узнаю. Она в два раза больше. Она расприрасталась. На ней никогда не было столько труб. Новые пристройки, надстройки...

Через несколько минут мы представились начальнику, и я спросил его, не работает ли у них маленький голубоглазый, вонючий инженер. Фамилия у его, и осаждален, забыл и имя тоже — ведь столько событий произошло после этого. Кажется, Вячеслав, если не ошибаюсь. Нас останавливает вахтер.

— Вам в кому?

— В начальнику.

— В Данилову?

— Я вдрагиваю:

— Да... В Данилову.

Нас проводят в его кабинет. За большим столом у окна сидит и жует завтрак маленький голубоглазый человек в черной спецовочке с выглаженными из кармана карандашами и линейками. Успока! Да ведь он и тогда в такой же ходил! И также же карандашами, также же линейками.

...Мы ходим с ним, с Даниловым Вячеславом Михайловичем, по тем самым местам, по которым ходили копать те назад и раскладывали взорванные мешки с аммонитом, где он часами бегал со своим неразлучным омметром и проверял целостность проводов между подрывной станцией в веревчатой — немедве мячи попутно их рвали. Заходям в машинный зал, спускаемся вниз, под генераторы. Тут еще

сохранились на стене наши надписи, и мы радуемся им, как чашечки деди.

И когда вечером, усталые от встречи и воспоминаний, мы сидим на веранде небольшого дачного домика, я смотрю на своего гостеприимного хозяина и думаю — да ведь ты такой же, как и был. — Вячеслав Михайлович, Слава, Георгий Акимович — такой же подвижный, энергичный, цепозеда, и та же или похожая на нее курточка с карандашами в кармане... Тот и не тот. Так же, как и ТЭЦ, — та и не та. Она хорошо видна отсюда, с горы — большая, многорукая. Вот она задыхалась — слишком густо, слишком черно. — Какое дьявола задыхали! — Кричит Данилов в телефон. — Прекратите!

И мне становится еще приятнее. Ведь я сижу в гостях и запросто разговариваю с человеком, который может вот так снять трубку и приказать, чтобы был нем таковой черной, и через несколько минут из труб ТЭЦ пойдет более спокойный и светлый дым, из труб той самой ТЭЦ, к жизни и смерти которой мы когда-то имели какое-то отношение.

Завод Метиз, как он назывался в нашем полку, или метизный, как называли его сталинградцы, или завод тракторных деталей, как он называется сейчас, раскинулся у самого подножья Мамаева кургана. Завод или, вернее, передовую, которая десять лет назад проходила по его территории, так как сам завод давно уже не существовал, изредка бомбили «юнкеры», чаще обстреливали «иссеры», еще чаще артиллерия и почти без всякого перерыва минометы.

Днем связи с передовой не было — все подходы протренировались. Жизнь начиналась ночью. Бежали на берег за обедом старшины, молчаливой вереницей тащили солдаты снаряды и мины на передовую, появлялись саперы, разведчики, различные поверьящие.

Длинный, ах, какой длинный путь от берега до бульварчика, тинувшегося вдоль завода; недалеко от входа — подбитый трамвайчик, у колес которого мы всегда перекуривали, сам вход, разрушенный минаями, срезаемые снарядами мертвые тополя, а дальше цехи — разрушенные, разваленные, сожженные. И над всем этим черное октябрьское небо, беззвучные вспышки ракет, щелчки немецких минометов и противные, сухие разрывы.

Я попал на этот завод только через десять лет, в июне этого года.

...Впервые я вижу его днем. Я не буду говорить, узнал я его или не узнал — всякий ответ будет звучать немного банально. Не буду говорить и о том, как искал и не нашел старые окопы, как пытался восстановить, где же проходила передовая, не буду говорить и о самом заводе — это особая тема, — я скажу только несколько слов о топиках.

Те самые, срезанные снарядями тополя у входа, мимо которых мы торпировали пробегали темными октябрьскими ночами 42-го года, те самые, мертвые, как нам тогда казалось, они выросли и стали большими, красивыми, настоящими тополими. И выросли, спас их Рогов — старый садоник завода. Совсем обыкновенный на вид, неманский, чуть-чуть сутуловатый, с черными от земли руками, это он превратил свой завод в сад — я не преувеличиваю, это действительно так, — это он вырастил в бедном зеленом Сталинграде, на сухой его почве эти деревья с такими пышными кронами, это он укрался заводские скверники маленькими вышневыми деревьями, которые тоже станут большими. Все это — дело его рук.

Он подводит нас к топикам, стройной шеренгой выстроившимися вдоль входа, нагло-

нается и, держа ладонь сантиметрах в двадцати от земли, говорит:

— Вот какими я их застал. Честное слово. А сейчас как! В деревцах метра по три, а то и четыре. Надо было только первой веточки дожидаться, вот отсюда, почти из корня. А уж если вылезает, тогда как-нибудь вытиснем.

И вытиснул.

Сейчас высокие, стройные, чуть перегибавшие на ветру тополя и цехи восстановленного завода, на стены которых молодые деревца бросают свою полупрозрачную тень, — может быть, все это и есть лучший памятник тем, кто делал сейчас в земле Сталинграда, кто отдал свои жизни в разрушенных цехах Метиза.

Жарко. Мы лежим на берегу и смотрим на воду. Ее очень много, она чуть-чуть рябится и, если посмотреть на нее вблизи берега, видно, что она желтоватая. Узкой полоской тянется противоположный берег. На нем какие-то домики. Правее белуют две башенки — шлюзы Карповского водохранилища.

Солнце поднимается выше и становится еще жарче. Мы бросаемся в воду и долго плаваем. Потом, вынырнув, вылезаем на берег и, растащившись на траве, загораем. Шагах в десяти от нас, нектово галдя и брызгаясь, купаются ребятишки.

Я гляжу на них — веселых, загорелых, блестящих от воды, — и мне до смерти хочется рассказать своим спутникам, как отступали мы в сорок втором году на этих самых местах, как было жарко, куда жарче, чем сейчас, и хотелось пить, и негде было напиться, как остервенил нам эти сухие, безводные степи, это выжженное, бесцветное небо, безумную вензелику кузнечика... Но я ничего об этом не рассказываю, я знаю, что уже надела всем своими воспоминаниями.

Я просто лежу и думаю. На Метизе, на Тракторном я все-таки пытался что-то узнать. Здесь я даже не пытался. Это бесполезно. Я знаю только одно — я здесь был. Может, именно здесь, где мы сейчас лежим, мы делали привал и бежали за тридцать земель нести воды да напиться лошадей. Потом проехали солдаты в машинах с прицепленными к ним пушками и что-то весело нам кричали, а мы только мрачно молчали. Они ехали на фронт, в Калач — там шай бон, — а мы в Сталинград, в цеховских своей армии.

Я смотрю на эту болышую, спокойную воду, на виднеющиеся на той стороне домики, и невольно начинает казаться, что все это так и было. И вода, и те домики, и этот берег с травой и какими-то камнями. Я знаю, что это не так, знаю, что все это результат напряженного человеческого труда и воли, и все же я не могу отделиться от этой мысли — так органически вошел канал в жизнь, так естественно выпался в окружающий пейзаж. И может быть, именно в этом, в этой естественности, в этих обычных берегах и как будто всегда стоявших на них домиках — может, именно в этом и заключается величие грандиозного из сооружений, соединившего две великие реки и оживившего своими водами растерзанную землю сожженных солнцем и ветрами степей...

К нам подполз голый, с прилипшими ко лбу бесельными волосками парнишка и попросил прикурить. Его следовало отчитать и не дать папиросы, но мы все-таки дали. Он непронаражающегося купания он озяб, покрывшись гусиной кожей и никак не мог зажать спичку тусующимися пальцами.

— Разве можно столько купаться, папан? Ты б погрелся на солнце. Смотри — весь синий.

Он даже не улыбнулся.

— Солнце, — презрительно сказал он. — Знаешь, как оно нам надело.

— А вода?

— Спрашиваешь... — и свернув папироску, он стрелой помчался, неся за ушами еще две папиросы для своих друзей.